

*ПАЛОМНИЧЕСТВО
ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА*

L'univers est une espèce de livre, dont on n'a lu que la première page quand on n'a vu que son pays. J'en ai feuilleté un assez grand nombre, que j'ai trouvé également mauvaises. Cet examen ne m'a point été infructueux. Je haïssais ma patrie. Toutes les impertinences des peuples divers, parmi lesquels j'ai vécu, m'ont réconcilié avec elle. Quand je n'aurais tiré d'autre bénéfice de mes voyages que celui-là, je n'en regretterais ni les frais ni les fatigues.

*Le Cosmopolite*¹

¹ Мир подобен книге, и тот, кто знает только свою страну, прочитал в ней лишь первую страницу. Я же перелистал их довольно много и все нашел одинаково плохими. Этот опыт не прошел для меня бесследно. Я ненавидел свое отечество. Варварство других народов, среди которых я жил, примирило меня с ним. Пусть это было бы единственной пользой, извлеченной мною из моих путешествий, я и тогда не пожалел бы ни о понесенных расходах, ни о дорожной усталости. — «*Космополит*» (франц.).

Предисловие

(к песням первой и второй)

Большая часть этой поэмы была написана в тех местах, где происходит ее действие. Она была начата в Албании, а те части, которые относятся к Испании и Португалии, основаны на личных наблюдениях автора в этих странах. Я упоминаю об этом как о ручательстве за верность описаний. Сцены и пейзажи, набросанные здесь автором, рисуют Испанию, Португалию, Эпир, Акарнанию и Грецию. На этом поэма покуда остановилась. Осмелится ли автор повести читателя по Ионии и Фригии в столицу Востока, зависит от того, как будет принято его творение. Эти две песни — не более чем проба.

Вымышленный герой был введен в поэму с целью связать ее отдельные части: это, однако, не означает, что автор не намерен допускать отступления. Друзья, мнение которых я высоко ценю, предостерегали меня, считая, что кое-кто может заподозрить, будто в этом вымышленном характере Чайльд-Гарольда я изобразил реально существующую личность. Такое подозрение я позволю себе отвергнуть раз и навсегда. Гарольд — дитя воображенья, созданное мною только ради упомянутой цели. Некоторые совсем несущественные и чисто индивидуальные черты, конечно, могут дать основание для таких предположений. Но главное в нем, я надеюсь, никаких подозрений не вызовет.

Излишне, может быть, говорить, что титул «Чайльд» (вспомним Чайльд-Уотерс, Чайльд-Чайльдерс и т.п.) был мною выбран как наиболее сообразный со старинной формой стихосложения.

«Прости, прости!» в начале первой песни навеяно «Прощанием лорда Максвелла» в «Пограничных песнях», изданных м-ром Скоттом.

В первой части, где речь идет о Пиренейском полуострове, можно усмотреть некоторое сходство с различными стихотворениями, темой которых является Испания; но это только случайность, потому что, за исключением нескольких конечных строф, вся эта песнь была написана в Леванте.

Спенсера строфа, принадлежащая одному из наших наиболее прославленных поэтов, допускает огромное разнообразие. Д-р Битти говорит об этом: «Недавно я начал поэму в стиле Спенсера, его строфой. Я хочу в ней дать полный простор моим склонностям и сделать ее то шутливой, то возвышенной, то описательной, то сентиментальной, нежной или сатирической — как подскажет настроение. Если не ошибаюсь, размер, выбранный мной, в одинаковой степени допускает все эти композиционные ходы...»

Опираясь на такие авторитеты и на пример многих выдающихся итальянских поэтов, я не стану оправдываться в том, что мое сочинение построено на таких же сменах и переходах. Если мои стихи не будут иметь успеха, я буду удовлетворен сознанием, что причина этой неудачи кроется только в исполнении, но не в замысле, освященном именами Ариосто, Томсона и Битти.

Лондон, февраль 1812

Дополнение к предисловию

Я ждал, пока наши периодические листки не израсходуют свою обычную порцию критики. Против справедливости этой критики в целом я ничего не могу возразить; мне не пристало оспаривать ее легкие порицания, и возможно, что, будь она менее доброй, она была бы более искренней. Но, выражая всем критикам и каждому в отдельности свою благодарность за их терпимость, я должен все-таки высказать свои замечания по одному только поводу. Среди многих справедливых упреков, которые вызвал характер моего «странствующего рыцаря» (я все-таки, несмотря на многочисленные признаки обратного, утверждаю, что это характер вымышленный), высказывалось мнение, что он, не говоря уже об анахронизмах, ведет себя очень нерыцарственно, между тем как времена рыцарства — это времена любви, чести и т.п. Но теперь уже известно, что доброе старое время, когда процветала «любовь добрых старых времен, старинная любовь», было как раз наиболее развратным из всех возможных эпох истории. Те, кто сомневается в этом, могут справиться у Сент-Пале во многих местах, и особенно во второй части (стр. 69). Обеты рыцарства исполнялись не лучше, чем все другие обеты, а песни трубадуров были не менее непристойны и, уж во всяком случае, менее изысканны, чем песни Овидия. В «Судах любви», «Бе-

седах о любви, учтивости и любезности» гораздо больше занимались любовью, чем учтивостью и любезностью. Смотри об этом Роллана и Сент-Пале.

Какие бы возражения ни вызывал в высшей степени непривлекательный характер Чайльд-Гарольда, он был, во всяком случае, настоящим рыцарем — «не трактирным слугой, а тамплиером». Между прочим, я подозреваю, что сэр Тристрам и сэр Ланселот были тоже не лучше, чем они могли быть, при том, что это персонажи высокопоэтические и настоящие рыцари «без страха», хотя и не «без упрека». Если история установления «Ордена Подвязки» не вымысел, то, значит, рыцари этого ордена уже несколько столетий носят знак графини Сэлисбери, отнюдь не блиставшей доброй славой. Вот правда о рыцарстве. Берку не следовало сожалеть о том, что времена рыцарства прошли, хотя Мария-Антуанетта была так же целомудренна, как и большинство тех, во славу которых ломались копья и рыцарей сбрасывали с коней.

За время от Баярда до сэра Джозефа Бенкса, самого целомудренного и знаменитого рыцаря старых и новых времен, мы найдем очень мало исключений из этого правила, и я боюсь, что при некотором углублении в предмет мы перестанем сожалеть об этом чудовищном маскараде средних веков.

Теперь я предоставляю Чайльд-Гарольду продолжать свою жизнь таким, каков он есть. Было бы приятнее и, конечно, легче изобразить более привлекательный характер. Было бы легко притушить его недостатки, заставить его больше делать и меньше говорить, но он предназначался отнюдь не для того, чтобы служить примером. Скорее следовало бы учиться на нем тому, что ранняя развращенность сердца и пренебре-

жение моралью ведут к пресыщенности прошлыми наслаждениями и разочарованию в новых, и красоты природы, и радость путешествий, и вообще все побуждения, за исключением только честолюбия — самого могущественного из всех, потеряны для души, так созданной, или, вернее, ложно направленной. Если бы я продолжил поэму, образ Чайльда к концу углубился бы, потому что контур, который я хотел заполнить, стал бы, за некоторыми отклонениями, портретом современного Тимона или принявшего поэтическую форму Зелуко.

Лондон, 1813

Ианте

Ни в землях, где бродил я пилигримом,
Где несравненны чары красоты,
Ни в том, что сердцу горестно любимым
Осталось от несбывшейся мечты,
Нет образа прекраснее, чем ты,
Ни наяву, ни в снах воображенья.
Для видевших прекрасные черты
Бессильны будут все изображенья,
А для невидевших — найду ли выраженья?

Будь до конца такой! Не измени
Весне своей, для счастья расцветая.
И красоту и прелесть сохрани —
Все, что Надежда видит в розах мая.
Любовь без крыльев! Чистота святая!
Хранительнице юности твоей,
Все лучезарней с каждым днем блистая,
Будь исцеленьем от земных скорбей,
Прекрасной радугой ее грядущих дней.

Я счастлив, пери Запада, что вдвое
Тебя я старше, что могу мечтать,
Бесстрастно глядя на лицо такое,
Что суждена мне жизнью благодать
Не видеть, как ты будешь увядать,

Что я счастливей юношей докучных,
Которым скоро по тебе страдать,
И мне не изливаться в рифмах звучных,
Чтобы спастись от мук, с любовью неразлучных.

О, влажный взор газели молодой,
То ласковый, то пламенный и страстный,
Всегда влекущий дикой красотой,
Моим стихам ответь улыбкой ясной,
Которой ждал бы я в тоске напрасной,
Когда бы дружбы преступил порог.
И у певца не спрашивай, безгласный,
Зачем, отдав ребенку столько строк,
Я чистой лилией украсил свой венок.

Вошла ты в песню именем своим,
И друг, страницы «Чайльда» пробегая,
Ианту первой встретив перед ним,
Тебя забыть не сможет, дорогая.
Когда ж мой век исчислит парка злая,
Коснись тех струн, что пели твой расцвет,
Хвалу тебе, красавица, слагая.
Надежде большим твой не льстит поэт.
А меньшего, дитя, в устах у Дружбы нет.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

1

Не ты ль слыла небесной в древнем мире,
О Муза, дочь Поэзии земной,
И не тебя ль бесчестили на лире
Все рифмачи преступною рукой!
Да не посмею твой смутить покой!
Хоть был я в Дельфах, слушал, как в пустыне
Твой ключ звенит серебряной волной,
Простой рассказ мой начиная ныне,
Я не дерзну взывать о помощи к богине.

2

Жил в Альбионе юноша. Свой век
Он посвящал лишь развлечениям праздным,
В безумной жажде радостей и нег
Распутством не гнушаясь безобразным,
Душою предан низменным соблазнам,
Но чужд равно и чести и стыду,
Он в мире возлюбил многообразном,
Увы! лишь кратких связей череду
Да собутыльников веселую орду.

3

Он звался Чайльд-Гарольд. Не все равно ли,
Каким он вел блестящим предкам счет!
Хоть и в гражданстве, и на бранном поле
Они снискали славу и почет,
Но осрамит и самый лучший род
Один бездельник, развращенный ленью,
Тут не поможет ворох льстивых од,
И не придашь, хвалясь фамильной сенью,
Пороку — чистоту, невинность — преступленью.

4

Вступая в девятнадцатый свой год,
Как мотылек, резвился он, порхая,
Не помышлял о том, что день пройдет —
И холодом повеет тьма ночная.
Но вдруг, в расцвете жизненного мая,
Заговорило пресыщенье в нем,
Болезнь ума и сердца роковая,
И показалось мерзким все кругом:
Тюрьмою — родина, могилой — отчий дом.

5

Он совести не знал укоров строгих
И слепо шел дорогою страстей.
Любил одну — прельщал любовью многих,
Любил — и не назвал ее своей.
И благо ускользнувшей от сетей
Развратника, что, близ жены скучая,
Бежал бы вновь на буйный пир друзей
И, все, что взял приданым, расточая,
Чуждался б радостей супружеского рая.

6

Но в сердце Чайльд глухую боль унес,
И наслаждений жажда в нем остыла,
И часто блеск его внезапных слез
Лишь гордость возмущенная гасила.
Меж тем тоски язвительная сила
Звала покинуть край, где вырос он, —
Чужих небес приветствовать светила;
Он звал печаль, весельем пресыщен,
Готов был в ад бежать, но бросить Альбион.

7

И в жажде новых мест Гарольд умчался,
Покинув свой почтенный старый дом,
Что сумрачной громадой возвышался,
Весь почерневший и покрытый мхом.
Назад лет сто он был монастырем,
И ныне там плясали, пели, пили,
Совсем как в оны дни, когда тайком,
Как повествуют нам седые были,
Святые пастыри с красотками кутили.

8

Но часто в блеске, в шуме людных зал
Лицо Гарольда муку выражало.
Отвергнутую страсть он вспоминал
Иль чувствовал вражды смертельной жало —
Ничье живое сердце не узнало.
Ни с кем не вел он дружеских бесед.
Когда смятенье душу омрачало,
В часы раздумий, в дни сердечных бед
Презреньем он встречал сочувственный совет.

9

И в мире был он одинок. Хоть многих
Поил он щедро за столом своим,
Он знал их, прихлебателей убогих,
Друзей на час — он ведал цену им.
И женщинами не был он любим.
Но боже мой, какая не сдается,
Когда мы блеск и роскошь ей сулим!
Так мотылек на яркий свет несется,
И плачет ангел там, где сатана смеется.

10

У Чайльда мать была, но наш герой,
Собравшись бурной ввериться стихии,
Ни с ней не попрощался, ни с сестрой —
Единственной подругой в дни былые.
Ни близкие не знали, ни родные,
Что едет он. Но то не черствость, нет:
Хоть отчий дом он покидал впервые,
Уже он знал, что сердце много лет
Хранит прощальных слез неизгладимый лед.

11

Наследство, дом, поместья родовые,
Прелестных дам, чей смех он так любил,
Чей синий взор, чьи локоны золотые
В нем часто юный пробуждали пыл, —
Здесь даже и святой бы согрешил, —
Вином бесценным полные стаканы —
Все то, чем роскошь радует кутил,
Он променял на ветры и туманы,
На рокот южных волн и варварские страны.